

Воскресенье 19 декабря 1999 г. у меня в Москве раздался междугородний телефонный звонок. Междугородные звонки отличаются от городских, - они пугающе чужие. Они, даже если по пустяку, и то трезвонят как с пожара. Но тут действительно... Незнакомый мне человек, назвавшийся Иваном Ивановичем, звонил из подмосковной деревни Семеновко. Это место, которое вот уже несколько лет в моем сознании живет слитно с Чашечниковым, как Шахматово с Блоком, Мураново с Тютчевым, Алепино с Солоухиным. Ровно недели раньше Леонид сам звонил мне оттуда, сказал, что дней на десять ложится в больницу. Договорились, что я позвоню ему после вторника. Но вот, вклинился этот воскресный звонок, известивший, что надо ехать на похороны. Леонид умер ночью на пятницу в участковой больнице. Сердце разорвалось во сне. Смерть оказалась легче жизни, в которой он маялся и слишком долго был одинок - под конец остался в своей маленькой квартирке вдвоем с котом Шуркой. Не торопитесь с вопросом: "почему?" - он больше всего на свете не любил вмешательств в свою личную жизнь и тремя инфарктами с перерывами в несколько лет заплатил за все, что выпало ему по судьбе. Давайте примем за истину вот эти строчки:

А был ли я счастливым? Нет и да.  
Я был любимым лучшим из женщин,  
Но Господом с поэзией повенчан,

## М.Сильванович Печали Левец русской

Остался одиноким навсегда.

Но если бы я даже попытался отвечать на сакраментальный вопрос и как-то судить друга юности, о чем даже подумать боюсь, то суд мой оказался бы мягче его собственного, чинимого постоянно над самим собой.

По воле рока - до конца, до срока  
Все боли мира сходятся на мне.  
Следы порока и печать пророка  
Отмечены в очах и седине.

Это еще цветочки, есть и ягодки: "... на все, что песня-ми воспоет, дождем упала кровь и боль поэта". А песен-то у него - десять только изданных книжек! Написано значительно больше. Нет, судить я его не буду. Ни за "лучших женщин", ни за выпитое вино. Ни за перемену мест обитания (родился и вырос на омской земле, как поэт расправил крылья над Нижней Волгой, в Астрахани, закончил путь в Подмоскovie). И бесполезно судить. Надо прочесть и перечитать все им написанное, и ответ придет сам собой - это типичная жизнь таланта, умещенная в один моток, в одну песню, в которой ни строчки, ни слова нельзя петь иначе.

Мне надо повыше подняться  
Над серым, безрадостным днем,  
Над шелестом чалых акаций,  
Над домом и склонами в нем,  
Над гордо приподнятой бровью,  
Над песней, что спел соловей,  
Над женской ревнивой любовью  
И всем, что сопутствует ей.

Первое, что подумалось после звонка Ивана Ивановича как после выясниться, это кум Леонид Чашечников, балашихинский самодельный поэт, некогда посчитавший за великую честь согласие мэтра окрестить в церкви его сына, - надо же как-то сообщить в Союз писателей, членом которого поэт Чашечников еще пока что оставался. Но у меня два-три служебных телефона, которые не только по воскресеньям, но и в будни большей частью молчат. А в понедельник я бы сам опоздал к погребению, если бы взялся бомбардировать столичные офисы. Я и так смог добраться до Семеновки лишь за полчаса часа до похорон. Посреди села нелепо торчат несколько панельных пятиэтажек, в одной из которых на третьем этаже и находилась последняя пристань поэта.

Преодолеваю четыре лестничных марша со стоптанными ступенями. Обитая мореной рейкой дверь легко поддается, и с порога я увидел знакомых людей. Какие-то мужчины и женщины были на кухне, еще несколько человек смотрели на меня из комнаты. Наверное, я их удивлял ищущим взглядом, остановившемся, наконец, на двух простеньких венках, прислоненных к книжному шкафу. Женщина на кухне спросила: "Вы кто?" Этого вопроса я не выдержал, разразился. Люди не могли меня знать, они были из этой, сегодняшней жизни моего старого друга, в которую я вторгался сравнительно редко, причем по телефону чаще, чем наядами. Они зовут его непривычно для моего уха - Леонидом Николаевичем. А для меня он сорок с лишним лет оставался Лешой (так его в Таре звали все в нашей редакции, где мы вместе трудились "литрабами" еще в 56-57 годах: не Ленка, а Лешка, почему - не знаю). Это были Сергеево-Посадские литераторы, которых он успел объединить в какую-нибудь организацию, некоторым дал рекомендации в Союз писателей России. Словом, знать меня в лицо они не могли. А вот кот Шурка по-родственному потерся о мою ногу... Главный вопрос, который меня интересует, - приехал ли кто из родных? Общественность и литературоведы чаще плачут задним числом. Тут незаменим свой человек. Сестра Тамара живет в Астраханской области. Дочь от первой жены - в Красноярке. В его захватывающей молодости была романтичес-

кая история, воспитан им во многих стихах. И уже в зените лет разыскал его славный паренек Сашка и против обыкновения ничего другого не попросил, кроме права носить его фамилию. Тогда Леша усновил... сына - нелепо звучит, правда? Но, знаю, он до конца дней гордился таким поворотом судьбы. Сын живет на севере Омской области. Попробуй, собери нынче всех, когда билет на самолет зашкаливает для среднего россиянина за пределы всяких утрат. Похороны на чужбине - это в жутковатой яви как возмездие нам за то, что мы, гоняясь за журавлями в небе, покидаем свою родину. Леша в стихах воспел и эту печаль:

Да, я люблю, пронзительно люблю  
Угрюмый лес и пасмурное поле,  
Да, я скорблю - который год скорблю  
О родине моей, о вольной доле.  
Завидую мне, что деда и дядю  
И на погосте посреди знакомых.  
От матери частенько слышал я:  
"Здесь хорошо, а помять бы дома..."

Я вздрогнул, услышав за спиной свое имя. Слава Богу, это была Тамара, Лешина сестра, которую я не видел, наверное, лет сорок. Она приехала с мужем Анатолием из Астрахани. Мы, обнявшись, заплакали. И почти сразу же кто-то из вошедших произнес роковое слово:

## Пам'яті Л.Чашечникова

"привезли". Мужчины стали хватать с вешалки одежду, выходить на площадку. Снизу через открытую дверь подъезда доносились голоса, и задувал холодный ветерок, приправленный запахом хвои. Кто-то меня обгонял с двумя табуретками навесу. Когда я спустился, красный гроб с нашитым по верху черным крестом уже стоял на этих табуретках у подъезда. Двое мужчин сняли крышку. Есть выражение: гробовая тишина - это как раз относилось к наступившим минутам. Я приподнял с лица покойного белое кружевное покрывало. Леша был таким, какого я видел менее чем два месяца назад. Только молочная белизна покрывала лоб и щеки. В черных усах виднелись проблески седины, и, совсем не портя вида, под едва заметной улыбкой пеннелась белая - пребелая, примерно недельной давности, небритая борода. Принесли крест, сработанный по всем церковным правилам и с распятием. С возрастом Леша все сильнее встал в веру. Имел духовника из православных священнослужителей. Как-то мы вместе были в Троице-Сергиевой лавре, тогда я понял, что и этот мотив в стихах льется от чистого сердца:

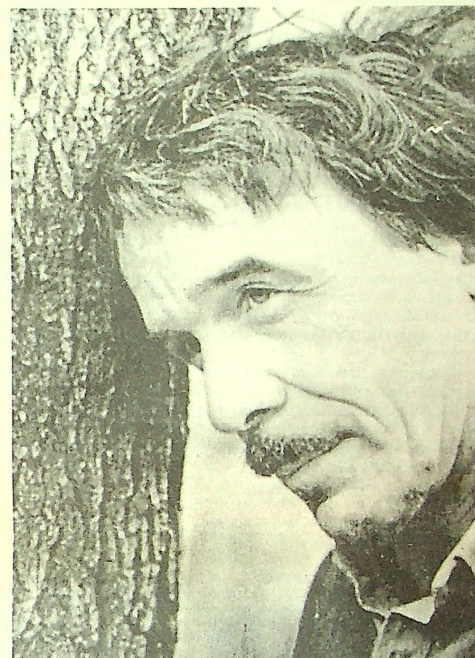
Любовь и грусть, цветы и дети,  
Вкус молока и запах хлеба.  
За все, что в жизни мне завещано,  
Спасибо Господу и Женщине!

Привезли священника. Это был настоятель церкви из соседнего поселка Пересвет. Весь такой классический, здоровенный, с окладистой бородой и красивым басовитым голосом. Две женщины, которых Святой Отец называл по имени, стали вместе с ним готовить обряд. Они укрыли тело специальным церковным покрывалом, на лоб положили венчик, отчего Леша как-то сразу отдалился, стал потусторонним. Когда женщины запели молитву, батюшка, выждав две-три фразы, по-шалапински принял их и на низкой ноте довел до полной тишины. Короткая пауза, и снова торопливый речитатив, похожий на причитания. И снова покойный бас священника. Кто-то сказал мне, что батюшка здесь где-то поблизости руководил музыкальным училищем, затем принял сан и из руин воскресал разрушенный храм в Пересвете. Теперь вот служит на священном поприще.

Закончив пение, батюшка поучает, в каком порядке надо вершить траурное шествие. Кто-то подошел с портретом покойного. Леша был снят для очередной книжки, наверное, ему хотелось смотреть с обложки залихватски-веселого, с дымящейся перед лицом сигаретой... Священник строгим движением руки отстранил портрет, что-то еще сказал в назидание, и портрет унесли в кабину стоящей поодаль машины. Впереди процессии он поставил несущих крест, затем - людей с венками и крышью гроба. Затем сам встал в колонну, за ним шестеро молодых подняли красный гроб. И тут я заметил до жути трогательную деталь. С гроба или забыли, или не посчитали нужным снять ценник. Фанерная бляшка с карандашной надписью "1900" желтела на красной материи в том месте, где над краем гроба возвышались носки неносенных туфель, формально обутых уже не для добычи, а для полета

Много раз видел как хоронят литераторов Больших и не очень. Во все времена кем-то устанавливался ранг похорон. В зависимости от ранга выделялись залы, кладбища. И даже гробы. До некоторых пор и в посмертных почестях замечалась определенная цензура. Сейчас все смешалось, на процедуру похорон расплылась аура не столь заметного ранее золотого тельца. Богатых и "крутых", словно откупаясь или на радостях, упаковывают в навороченные импортные ящики с открывающимися, как у самолета, "фонарями". Будто им там вылезать перед вратами рая или ада. Скромный обряд для Чашечникова был куплен невестой на какие деньги. Три года назад он продал

свою двухкомнатную квартиру в Балашихе, переселился в Семеновку. Получая всего 300 рублей пенсии, он, разумеется, транжирил разницу между стоимостью балашихинской квартиры и здешней однокомнатной клетухой на жилье. Знаю, стесняясь себя он не любил, даже купил машину "Волгу", хотя сам за рулем никогда не сидел, для разовых поездок нанимал шофера да по 100 рублей в месяц платил за стоянку. Когда деньги кончились, пришлось машину продавать, выручка была в четыре раза меньше затрат на покупку. Из остатка оплатил первый завод книги "Русская голгофа" тиражом 500 экземпляров. Второй завод рассчитывал запустить на деньги, вырученные от продажи первого, а уж второй том - после распространения второго завода. Такой план он развел как раз до своего семидесятилетия, то есть до 2003 года. Пока мог выступать на поэтических вечерах, книга "Русская голгофа" расходилась по 30-40 рублей. Можно было обстать и без магазинов - 500 экземпляров не тираж. Но тут настала болезнь. В последний мой приезд к нему в конце октября он попросил меня ответить три упаковки своему бывшему коллеге по газете "Советская Россия" Ларионову, ныне директору издательства "Современный писатель", что я и сделал (надежда на то, что книга будет реализована через лотки этого издательства, но даже на день похорон никаких утешительных результатов не было). Еще три упаковки я должен был передать по договоренности Леонидом с секретарем правле-



ния Союза писателей России Лыкошиным в книжный киоск в доме правления СП на Комсомольском проспекте. Однако продавец долго перечислял мне, какая литература сегодня пользуется спросом, что поэзию сейчас не читают: "все помешались на детективах". И я подумал: деньги покойному уже не нужны, не лучше ли ответить эти четыре десятка книг на родину. От такого решения полегало на душе. Сестра Тамара согласилась с предложением, и я решил с первой оказией переправить посылку в Тару для местных библиотек.

Это десятая по счету книга. Самая солидная: двести пятьдесят стихотворений и две поэмы. У членов Союза писателей России в советские времена была правильная традиция - давали возможность в честь пятидесяти - или шестидесятилетия как бы отчитаться перед читателями юбилейной книгой. Шестидесять лет Чашечникову исполнялось в 93-м. Он жил тогда в Балашихе, собрал стихов на два тома и еще продолжал интенсивно работать. Но тот, советский СП с его традициями, с держателем богатств литфондом вдруг развалился... Что дальше - уже сказано.

Гроб на руках донесли до выезда из села, затем поставили на грузовик. Провожające ехали в автобусе. На кладбище обряд был непродолжительным. После молитвы батюшка наставлял, как должна проходить процедура прощания:

Подходите по правую руку, целуете икону, затем прикладываетесь к венчику на лбу. Можно попрощаться и просто поклоном.

На погребение приехал человек двадцать. Началась процессия прощания. Как раз пошел густой снег. И я услышал, как кто-то рядом со мной произнес: "снега, снега...". Я оглянулся: это была пожилая женщина с тростью. И пока приближаюсь в хвосте процессии к гробу, моя память по строчке выдает полузабытое:

Снега, снега! Как вы белы,  
С какой падаете негой!  
Вы мне по-прежнему милы -  
Не мыслю родины без снега.  
Снега, снега! В конце концов,  
Неотвратима мысль простая:  
Снежинка сядет на лицо  
И, удивившись, не растает...

Продолжение следует.

Продолж. Нач. в № 14.

Когда он был жив, мне казалось, что эта строчка — о смерти. Впрочем... Кажется, у Льва Толстого сказано, что, только задумываясь о смерти, человек начинает понимать жизнь. Нет, наверное, это все же не о кончине в прямом смысле. Это из области философии. Мудрая наука — философия. В ней есть закон отрицания. Она даже не для слов существует, а для музыки стиха... Ее изначальность, ее субстанция — душа. Мы же не требуем пояснений, когда слышим выражение «русская душа». Чашечников — это продолжение Колыцова, Есенина, Федорова...

Чашечникова. Но он заявил о себе не только этим. Был сельский зав, клуб, вскоре предложил на обсуждение литературного кружка поэмы «Александр Сибиряк» и «Счастье». О нем сразу заговорили, как о явлении на нашем Парнасе районного масштаба. Нас почти одновременно приняли на работу в редакцию: он был в отделе писем, а я в сельхозотделе. В сущности разницы не было никакой, мы оба работали по колхозам и гна-

где читались посвящения, сергиевпосадские друзья Чашечникова пытались меня поправить. Я назвал Екатеринбург, они поправили: «Воскресенка». Я вновь: «Екатериновка», они: «Воскресенка». Тогда я пояснил: «Воскресенка — это родина а Седельниковском районе Омской области». А Екатериновка — это совсем другое».

Леша частенько был инициатором отсрочки нашего воскресного отъезда из Екатериновки в Тару. Мы

В очередной раз, оставши от меня, он не появился в редакции ни к обеду в понедельник, ни к вечеру. Только во вторник утром я услышал в телефонной трубке его прерывистое дыхание.

— Ну что молчишь? — Почти выкрикнул я. — Я уже все соврал за тебя, осталось только объявить, что ты умер.

— Не говори, что я умер, скажи, что я женился. — Он хохотнул и, выдержав паузу добавил: — И это будет

тал о новых встречах, на что моя спутница подавала вполне реальные надежды.

Свадьба только называлась свадьбой. Каково же было мое удивление, когда я узнал в невесте Анну, Леша, как сам признался, с воскресенья «не просыхал», и теперь продолжал шутить, балагурить. Стол в пионерском лагере накрывали после вечернего горна. Я даже не позврил в серьезность намерений этой беспечной с виду пары. Ей-богу, можно было

что, я любя, Прошел по жизни и уйду в могилу. Конечно, Анна, — что теперь про нас! — Отгорезали, мы, отпировали. Но если б выбирать судьбу сейчас — Я по-другому выбрал бы едва ли...

Это писалось в 97, на со- рокалетие той свадьбы! Вот что такое Екатериновка, други мои!

О судьбе Анны мне мало известно, поэтому молчу. Скажу о другом. Читая и перечитывая его стихи, я все больше убеждаюсь, что он был обречен на любовь к одной женщине. Она жила в нем, сжигала, травила, окрыляла и несла по жизни. Сам лирик и поэт, я мало у кого встречал вот такой силы стихи об одной — единственной, богданной, но несовершенной, — как набросок картины — любви:

Пойми: стражилось такое дело — Душа, по-прежнему любя, Вдруг разом сжалась, поседела, Взяв все на свете на себя. ...Судьбою часто правит случай: Чтоб с кем-то разделить беду, Я в ночь по лестнице скрипучей На тихой станции сойду. Там ждут меня, там мне позерят, Что я вернулся навсегда. И будет пес скулить под дверью, Гудеть за стеной провода, — Там все привычно — непривычно — И пруд, и мерзлый оком... И будет ночью чай отличный, И одиночество вдвоем.

(Окончание следует)

М. Сильванович

## Певец русской печали

Памяти Л. Чашечникова)

ли строчки в прожорливую районку: про посеяную, про сенокос, про надон, про уборку урожая. Он против меня, тугодума, был лихачем и на журналистском поприще. Конечно, сказывалось и то, что он был тремя годами постарше. Если я, корпее над рукописью, и думать не мог о стаканчике вина в рабочее время, то Леша успевал и это, и материалы сдавал в набор раньше меня. Не припомню, где он тогда в Таре квартировал постоянно, но мы часто летом ночевали у меня дома на сарайке, под видом свиды, но надежным против комаров холщевым пологом. Зато по субботам мы уезжали в Екатериновку, где жила его мама, Мария Петровна, с дочкой. Тамарой. У нас там водились «шурь-муры», мы иной раз прогуливали по целым ночам, и так не хотелось уезжать к понедельнику на работу! Отлекусь. На поминках,

оба тайне смаковали такое решение, как сладкий балзам. Но в качестве расплаты надо было утром глотать горькие пилюли: вставать на рассвете, переправившись через Иртыш, ловить попутку, и к десяти поспевать в редакцию. Если Леша давал мне фору в работе, то я превозмогал его в пунктуальности. Я тряс его за плечи, поднимая с пола (мы всегда спали на полу) еще до рассвета. Бывали случаи, что я даже уходил один. Он или догонял меня на переправе, или во все приежал в редакцию к обеду. Тогда мне приходилось или скрывать от сослуживцев о совместном уик-энде, либо что-нибудь приврать о причине опоздания коллеги. Так было в течение двух летних сезонов. В 1957 году я уезжал на учебу в институт, но незадолго до моего отъезда случилось то, что станет концом Лешиней бесшабашной свободы,

презда.

Он вырвал у меня обещание, что в предстоящую субботу я приеду на свадьбу.

Я забыл спросить про невесту. В последнее воскресенье мы были с ним в пионерском лагере. Туда нас затащил его дружок из местных, водившийся с кем-то из пионерождат. Деа- чата там были — глаза разбегались. Кто-то пред- ложил игру в буриме. Дик- товались четыре зарифмо- ванных слова, и надо было под них придумать четыре строчки, чтобы вся строфа получалась со смыслом. Леша в этой игре блистал. А домой мы возвращались под утро и порознь. Я гу- лял по берегу Иртыша с Анной — высокой, кругло- лицей шатенкой с ямочка- ми на щеках. Мне в то ле- то исполнялось двадцать, кажется, я парил на «воз- духах» и конечно же меч-

подумать, что жених и не- веста просто всех разыгры- аают, придумав забавную вечеринку. Только по про- шествии многих лет станет понятно, во что каждому из нас выльется эта «шут- ка». Тут я опять зову на помощь стихи: Я не люблю высокопарных слов, Но нынче, в дни трагической години, беру за свидетели свою любовь, — Судьбу свою, морщины и седины. ...Я позову любовь из давних лет И посажу под древнюю икону... Произнесу: ну, будь здорова Анна! Начнем с того, что я тебя люблю Все сорок лет и помню постоянно. Я всех простил, но только не себя И не тебя — мне это не под силу! И все-таки ты знай,

Пока еще длится печаль- ное действо прощания, пока еще желтеют два хол- мика земли по краям мо- гильного провала, память вырывается из далекого прошлого пронзительно хлесткие эпизоды.

В наш разношерстный и разновозрастный литера- турный кружок при редак- ции Тарской районной га- зеты «Ленинский путь», где я, вчерашний школьник, был самым начинающим, Леша ворвался в 1956 году хули- ганским стихом «Разговор со стаканом». Искушенные в жизни «старики» смеялись над строчками: «Пьяный, как саинья, смеюсь до ко- ликов, а над кем смеюсь — стросить бы вас? Над со- бой смеюсь...». Это было «смешно», потому что в реальности не походило на правду. Это еще была юно- шеская бравада Леньки

## Памяти Л. Чашечникова

Два перенка старательно ухлопывали талую глину вокруг креста. Я мысленно промерял расстояние от дороги до могилы, старался зрительно сфотографировать черные столы вяза, чтобы никогда не терять это место. И говорил себе: весной приезду и высажу герани. Он любил цветы, и, дозируя вкус моей жены, заказывал ей семена из московских магазинов. Однажды мы с Риммой рассказали про саги герани, которые каждый раз высаживаем на даче, и они цветут до самых заморозков — Леша перехватил наш опыт, у него тоже в Семеновке был земельный участок, но этим, последним в своей жизни

тобой не тракторы ремонтируем, а претендуем на врачевание душ людских. И тут я бескомпромиссен: всякая, даже малая сделка с собой (...) рано или поздно ляжет на бумагу то ли ложью, то ли равнодушием... Совру, если скажу, что я пристально слежу за твоими выступлениями в «Сельской жизни». Но если попадется в руки газета со статьей за твоей подписью — читаю. И вот какое впечатление: ты все время идешь за событиями, не делая рискованных прогнозов (...), мягко скажем, не плюешь против ветра, если противник стоит с надветренной стороны. Позиция разумная, но социаль-

убедиться, что Василий Андреевич осторожничал зря — книга разошлась за неделю.

Поэтому должно многое прощаться. Жизненные ошибки — строительный материал его творчества. Уверен, Чашечников не написал бы столько прекрасных, волнующих стихов о любви, не будь у него драматического опыта собственных терзаний на этом поприще.

Ником его любовной лирики я бы назвал вепок сонетов «Цветы и тернии любви», хотя он написан не на вершине, а на взлете таланта, где-то, если я не ошибаюсь, в начале семидесятых. Выдержанный в классическом стиле,

М. Сильванович

# Цевец русской печали

летом, геранями уже не интересовался — был очередной кризис его здоровья.

Когда человек ушел, ничто уже не может ни убавить, ни прибавить к его достоинствам и недостаткам, если, конечно, полностью исключить лжесвидетельство. Но можно бесконечно итожить крупицы опыта, оставшегося от общения с ним. Он был для меня примером того, как можно, «не кончая академий», стать образованнейшим человеком своего времени. Окончив Тарское культпросветучилище, он неплохо играл на баяне, был прекрасным чтецом. Помню концерт художественной самодеятельности в сельском клубе. Леша угаривает кого-то выпустить его на сцену. Уговорил. И прочел монолог Незнамова из пьесы Островского «Без вины виноватые». Зад залел на вздохе, а после долго не отлучал его со сцены.

Позднее, уже на пятом десятке лет, Чашечников окончил Высшие литературные курсы (ВЛК) при Литинституте имени Горького. Но в основном сумел «сделать» себя сам. По многим вопросам истории России, особенно в части ее псевдореволюционных, антиправославных прегрешений перед русским народом, он был, без преувеличения, энциклопедистом. Мы не раз цитировали по политическим мотивам, я был «партийнее» его, правильнее, что ли, по советским идеологическим критериям. Но случайно «волны горбачевской перестройки» прибили его к газете «Советская Россия», которая в бытность ее главным редактором Михаила Ненашева громилла и сокрушала догмы ортодоксального коммунизма. Чашечников являл тогда незаурядные способности демократического публициста. А я работал в спокойной, некрикливой и не очень политизированной газете «Сельская жизнь», которая вела вечный вой к крестьянским проблемам, но забегая вперед лошади. К тому же я был собкором в Сибири, то есть находился вдали от редакции. И даже если иногда и хотелось пропеть свое соло, то умудренные редакторы находили способ заглушить его монотонностью хора. Знаю, он не смог бы оставаться в этом хоре, а я вот мог. Его позиция ясна: ясного выражена в строках письма, присланного мне из Семеновки в Омск в 1985 году: «Мы ведь с

но бесполезная и даже вредная».

Вот как серьезно отчуждал, и в этом он весь — жесткий и беспощадный. Но пройдет еще с десяток лет, и он ужаснется результатам перестройки, за которую сражался некогда меня. Появится его стихотворение «Распродажа»:

Идет распродажа. Не сею, не пашем, Садов не сажаем, не строим дорог, — Идет распродажа в Отечестве нашем — Вгрызаются соросы в русский пирог... Очнитесь, славяне! Во лжи, словно в сажке, Вы святость отцов позабыли, сыны! Идет распродажа, идет распродажа, Идет распродажа великой страны!.. За семь лет до отъезда в Астрахань от него в подарок Омску осталась песня (музыка Бориса Яркова):

Я люблю этот город, мой город зеленый У великой реки Иртыша. У люблю его верной любовью. Той, что первому чувству сродни, Говорят, хороши вечера в Подмоскowie, Только в Омске не хуже они! Земляки, наверное стали забывать, но я напоминаю: да, это написано Чашечниковым. Мы с ним в некотором роде оказались «двойней»: я написал стихи к песне «Омские улочки» (музыка Вячеслава Косача), он — к «Омским вечерам».

Первые два стихотворных сборника он издал в Волгограде: в 1969 году — «Я боюсь тишины» и в 1972 году — «Россия, женщина, берега...». Но он хотел, чтобы его читали и помнили на родине. Когда в издательстве «Советская Россия» в 1979 году выходил его сборник «Журавлиный зов», он позвонил мне ночью в Омск, а после объяснял свою нетерпеливость в письме. Ему пришла в голову идея, чтобы омские книготорговцы запросили у столичного издательства дополнительный тираж, хотя бы тысяч пять экземпляров. Я поплелся к директору книготорга Сиплину, с которым был знаком, уговорил, но не на пять тысяч, а только на две. Вскоре можно было

он и афористичен в духе лучших образцов классики. Как у Шекспира в переводе Маршак. Не знаю, какой из двенадцати сонетов выбрать для подтверждения сказанного, все они великолепны, но остановлюсь вот на этом, он, на мой взгляд, сильнее других обнажает натянутый нерв поэта:

Черемухой белой зацветают И обретают истину слова. Неоспорима истина простая: Любовь бессмертна, Женщина права. Права она, когда рождает в муках, Извечно продолжает род людской; Мудра она, когда, качая внуков, испытывает сладостный покой, Усталость отплодившегося сада, Раздумье накануне листопада — Она еще прекрасная пока! Хотя покрылся изморозью волос, И потускнел, когда-то дивный, голос, И взор туманит тихая тоска.

На девять дней я привез на могилу красного вина. Приехали сестра и бывшая жена, тоже Тамара, с которой Леша был уже несколько лет в разводе. Приехал кум, Иван Иванович, с крестным сыном Чашечникова. Я налил стакан вина и, прикрыв его скибочкой хлеба, по нашему сибирскому обычаю вдавил в снежок над могилой холмиком — для покойного. Но Иван Иванович возразил, сказав, что вина ему наливать хватит, что душа сейчас находится у чистилища и ей надлежит быть свободной от бывшей светской суеты. Возражать не хотелось, и мы, пригубив сами и покрыв хлеб для птиц, этим и ограничились. Возвращаясь в Москву через Сергиев Посад, я поставил свечку в Троице-Сергиевой лавре.

Уже был вечер, стемнело. Но зимний день короток, поэтому в лавре еще было светло, многолюдно. Над муравьиным кружением толпы витал многоголосый ропот, возносящийся к отяжелевшим во тьме куполам. И в глубине души холодающей стружкой шевельнулась тоска об уходящем мгновении, которое так коротко, хотя и называется — жизнь.